

СЕРГЕЙ ТАРАНЕНКО



# ОПИСЬ ПРОПУЩЕННОГО

П О В Е С Т Ь



Сергей Тараненко

**Опись пропущенного**

«Автор»

2026



**Тараненко С.**

Опись пропущенного / С. Тараненко — «Автор», 2026

В мире, где перестали умирать, остановилось всё. Только солнце ещё движется по небу — и один человек, который искал бессмертие и нашёл его. Ансельм сидит на пороге мёртвого города и год за годом перечисляет то, что пропустил: часы у постели матери, тысячи стуков в дверь, жизнь дочери, которую он не заметил. Его опись — не книга сожалений, а последнее ремесло человека, который учится отпускать. Философская повесть-притча о том, что бессмертие без внимания к жизни — не дар, а проклятие.

© Тараненко С., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ                      | 5  |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ                      | 6  |
| ГЛАВА ВТОРАЯ                      | 9  |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ                      | 11 |
| ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ                   | 13 |
| ГЛАВА ПЯТАЯ                       | 15 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 16 |

# Опись пропущенного

*Успеть — это не «потом». Успеть — это «сейчас» или никогда.  
магистр Ойн, торговец бессмертием, Гэrsa, Стеклодувная улица,  
второй дом от угла*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### СОЛЬ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Порог

Свет приходит на стену дома напротив всегда одним и тем же путём.

Он начинается у водосточной трубы, где кирпич выщерблен и держит тень дольше остальных, потом медленно, как будто нехотя, сползает по кладке вниз, задевает железное кольцо, к которому когда-то привязывали лошадей, и ложится на порог — ровным, тёплым, ничего не значащим прямоугольником. Так было вчера. Так будет завтра. Так было все девятьсот шестьдесят семь лет, что Ансельм сидит на этом пороге и смотрит.

Солнце — единственное, что в этом мире ещё умеет двигаться, кроме него самого. Ансельм давно подозревает, что солнце просто далеко: беда не дотянулась до него, у беды не хватило рук. Всё остальное стоит.

Стоит пыль. Не оседает, не поднимается — висит в воздухе тонкой золотой взвесью на той высоте, на которой её застало, и если провести сквозь неё ладонью, она разойдётся и останется разведённой, с чистой прорехой по форме ладони, навсегда. Ансельм больше не проводит. В первые сто лет он прорезал в воздухе улицы целые узоры, писал слова, которые никто не прочтёт, а потом однажды посмотрел на них с крыши и увидел, что весь город исчёркан следами его скуки, как стена в казарме, и с тех пор ходит осторожно, боком, стараясь не тревожить.

Стоит река. Сенья остановилась в шестьдесят третьем году — не высохла, не замёрзла, просто перестала течь, и вода в ней сделалась стеклом, в котором до сих пор висит, наклонившись, отражение старого моста и одна щепка, застигнутая на середине поворота. Рыбы в ней тоже стоят. Они смотрят.

Стоит бельё во дворе у Брасов — три рубахи и простыня, вздутые последним порывом ветра и с тех пор так и вздутые, окаменевшие в форме воздуха, которого больше нет.

И стоят люди.

Их в Ольме четыреста двенадцать. Ансельм пересчитывал восемь раз за девять веков и всегда получал одно и то же число, но всё равно иногда пересчитывает — не чтобы проверить, а чтобы что-нибудь делать руками. Они не мертвы. Это первое, что нужно понять про них, и это то, чего он не мог объяснить самому себе сорок лет подряд, пока не перестал пытаться. Они тёплые. Если приложить ухо к груди пекаря Браса, слышно, как в нём медленно, раз в четверть часа, поворачивается сердце — один тяжёлый оборот, будто жёрнов, который толкают через силу. Глаза у них открыты, и зрачки сужаются, когда солнце доходит до лица. Они просто больше не тратятся. У них не осталось ничего, что они могли бы отпустить, а всякое движение — это когда что-то отпускают, и вот они стоят, каждый в той позе, в которой у него кончилось последнее.

Брас стоит у своей печи, наклонившись, с рукой, протянутой к заслонке. Печь холодная девятьсот пятьдесят семь лет. Он тянется к ней уже семьсот одиннадцать.

Никас стоит посреди двора мастерской, в шаге от порога, повернув голову вбок, будто его окликнули. Никого не было. Ансельм проверял.

А в одиннадцати шагах от того места, где сидит Ансельм, у самого угла, где кончается тень и начинается свет, стоит женщина с синими руками.

Он не подходит к ней.

Одиннадцать шагов — Ансельм измерял их своим шагом, шагом Никаса, длиной верёвки, длиной собственной тени в полдень середины лета. Одиннадцать. Не десять и не двенадцать. Число это он знает так же хорошо, как своё имя, — а своё имя он знает лучше всего

на свете, потому что подписал им сорок один год бумаг, шесть тысяч четыреста листов, и оно въелось в него, как краска въелась в её пальцы.

Её имя он произносит один раз в год.

Это правило. У Ансельма немного правил, потому что немного осталось вещей, к которым правила можно применить, но это — главное, и он держит его семьсот лет.

Вспоминать можно один раз в год.

Он открыл это не сразу. Первые двести лет он вспоминал жадно, безостановочно, как пьют из ковша, — ему казалось, что память бесконечна, потому что она ничего не весит и ничего не стоит. Он ошибался. Память — единственное вещество в этом мире, которое ещё способно портиться, потому что она единственное вещество, которое находится внутри него, а внутри него, единственного во всём мире, ещё идёт время. Каждый раз, когда он доставал воспоминание и разворачивал его, оно делалось чуть тоньше. Не бледнее — тоньше. Как ткань, которую слишком часто стирали: цвет держится, а рука проходит насквозь.

К двухсотому году он истёр лицо матери. Он помнит, что у неё был широкий лоб, что левая бровь была выше правой, что она пахла дымом и мокрой шерстью, что она смеялась беззвучно, одними плечами, — он помнит всё это словами. Он может это сказать. Он не может это увидеть. Между «я помню, что у неё был широкий лоб» и лбом матери легло девятьсот лет, и это разные вещи, и он выменял вторую на первую по собственной глупости, сам, добровольно, за двести лет ненасытного нежного разглядывания.

С тех пор он экономит.

Один раз в год он садится на этот порог, разрешает себе достать одно — одно — и смотрит на него столько, сколько нужно, чтобы оно опять сделалось живым, и потом убирает.

Сегодня тысяча восьмой год.

Он считает годы от того вечера, а не от кристалла, — так честнее. Вечер был началом; кристалл был только тем, чем всё кончилось. Тысяча восемь лет назад в комнате с низким потолком сидел молодой человек двадцати трёх лет, и с ним произошло то, что он потом всю жизнь называл про себя решением, а следовало бы называть попаданием — как попадают под дождь или под колесо.

Ансельм разглаживает на коленях свёрнутый лист. Бумага не желтеет. Чернила не выцветают. Он мог бы записать всё, и он всё записал — в доме за его спиной стоят на полках сто девятнадцать переплётённых тетрадей, безупречно сохранных, и в них подробнейше, день за днём, описана вся его жизнь: что было, кто говорил, во что был одет, чем пахло. Он ходил вдоль этих полок в четырёхсотом году, снимал наугад, читал вслух в неподвижный воздух и не чувствовал ничего. Ни-че-го. Там написано: «мать пахла дымом и мокрой шерстью». Прочтите это себе. Вот что у него осталось на полках. Сто девятнадцать томов чужой жизни, изложенной точно.

Лист на коленях — другой. Это не тетрадь. Это опись.

Он начал её в триста двенадцатом году, когда понял, чем занят на самом деле, и с тех пор она не выросла и не сократилась. В ней нет того, что он помнит. В ней перечислено то, что он пропустил.

Он ведёт её потому, что это единственная работа, которая ему осталась, и потому, что человек, который сорок один год вёл лабораторный журнал, не умеет иначе. И ещё потому — но это он признал не сразу, — что каждый пункт описи есть место, где он когда-то стоял рядом с чем-то живым и не посмотрел, и опись, таким образом, есть карта. Карта его настоящей жизни, вычерченная по пустотам, как русло чертят по берегам.

Солнце доходит до железного кольца.

Ансельм смотрит на женщину в одиннадцати шагах. Синева на её руках — не краска, а её цвет; она красила шерсть тридцать лет, и вайда съела кожу до самой сути, до того слоя,

который уже не отмывается и не сходит. Кисти рук у неё подняты к груди, ладонями внутрь, чуть-чуть, как держат что-то маленькое и тёплое. В них ничего нет. Он смотрел.

Она шла к нему. Это он знает. Дом её был за спиной, мастерская — правее, а идти этой дорогой в этот угол можно было только к нему, и она прошла три четверти пути и там кончилась.

— Аста, — говорит Ансельм.

Он произнёс имя. Год начался.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Обмывальня

Мать звали Тавия, и она обмывала мёртвых.

В Ольме это была работа как работа, не хуже прочих: кто-то печёт, кто-то красит, кто-то правит колёса, а кто-то принимает тело и возвращает его людям в том виде, в каком его не стыдно отпустить. Платили немного и всегда сразу, не торгуясь, — с обмывальщицей не торгуются. Уважали её тем особым уважением, в котором ровно половина — желание отойти подальше.

Обмывальня стояла на низком берегу, у самой воды, потому что воды нужно было много. Одна комната, каменный пол с уклоном к жёлобу, два стола, на стене — крючья, на крючьях — холст. И полка с солью.

Соль была серая, крупная, с прозеленью, её привозили с восточных варниц, и она стоила дороже той, что кладут в котёл. Тавия хранила её в трёх глиняных банках и брала мерной ложкой, всегда одинаково, всегда молча. Она натирала ею живот и грудь, втирала под мышки и в пах, засыпала рот. Соль вытягивает воду, а вода — то, чем начинается порча; это Ансельм узнал раньше, чем узнал, откуда берутся дети.

Ему было семь, когда мать впервые дала ему в руки холст и сказала: держи под лопатками.

Мальчика звали Мирко, он был сыном перевозчика и утонул выше по течению, где Сенья делает петлю и обманчиво мелка на вид. Ансельм играл с ним три дня назад в бабки и проиграл ему нож. Теперь Мирко лежал на столе, и Ансельм держал его под лопатками, и первое, что он понял в жизни по-настоящему, было — тяжесть.

— Тяжёлый, — сказал он.

— Мёртвые тяжелее, — сказала мать. — Всегда.

— Почему? Он же не съел ничего.

Тавия отжала холст. У неё были короткие крепкие руки, красные до локтя от холодной воды.

— Потому что из него вышло то, что его держало, — сказала она. — Пока держит — легко. Вышло — весь вес твой.

Ансельм думал об этой фразе тысячу восемь лет и до сих пор не знает, сказала ли она глупость или сказала всё.

Он вырос в этой комнате. Он знал наизусть, как выглядит человек изнутри своей смерти: как за первые часы уходит краска с губ и приходит на спину, в те места, где тело лежит на столе; как к утру пальцы делаются твёрдыми, а к следующему вечеру снова мягкими, и это вторая мягкость, не похожая на первую, — ложная, отпустившая. Он знал запах на второй день и запах на третий. Он знал, что старики уходят суше, а молодые — обильнее, и что зимой у матери работы меньше, но она тяжелее, потому что мёрзнут руки.

И он знал вот что, и это оказалось важнее всего остального: обмывальня была весёлым местом.

Никто в это не верит, а между тем это правда. Люди приходили за телом, и с ними надо было говорить, и Тавия говорила — ровно, буднично, без вздохов, — и от её будничности им делалось легче, чем от любого утешения. Она говорила: «Хорошо получилось, посмотрите, какое лицо». Она говорила: «Он у вас был красивый мужчина, ну и остался». Она подкладывала под подбородок скатанный холст, чтобы рот не открывался, и это простое ремесленное движение вправляло людям что-то внутри. Приходили соседки, приносили хлеб, садились на

порог обмывальни и сплетничали, пока Тавия работала, и мёртвый лежал тут же, и это никого не смущало, потому что он был свой и никуда не спешил. Ансельм помнит — помнит словами, но точными, — как одна женщина хохотала до слёз над историей про козу, стоя в двух шагах от собственного мужа под холстом, и это не было бесчувствием, это было ровно наоборот: это был единственный способ пронести такое на руках.

Смерть в Ольме была громоздкой, мокрой, хлопотной домашней работой. Её делали руками. У неё был вес, запах и свой инструмент.

Позже, много позже, Ансельм пробовал понять, что именно сделало из него того, кем он стал, и всегда упирался в один вечер.

Ему было двенадцать. Умер старик по прозвищу Дудка, живший через два двора, бездетный, ничей. Он лежал под холстом, обмытый и посоленный, и никто за ним не пришёл — то есть пришли, конечно, наутро, староста и двое, но в тот вечер он лежал один. И Ансельм, вместо того чтобы уйти домой, сел на низкий табурет у стола и стал думать.

Он думал так. Вот человек. Он был. Он семьдесят лет ходил по этим улицам, у него внутри было всё то же самое, что у Ансельма внутри: вечера, обиды, каша, чья-то рука, голос матери, страх темноты, первый снег, тот раз, когда его хвалили. Огромный склад. Огромный, тёплый, набитый доверху склад, который собирали семьдесят лет.

И теперь его нет.

Не «он ушёл в лучшее место» — Ансельм видел слишком много тел, чтобы верить, что оттуда что-то уходит; он видел, как оно там просто заканчивается. Не «он остался в памяти» — на завтра выяснилось, что никто в Ольме не помнит даже, как Дудку звали по-настоящему, и на камень положили прозвище.

Просто нет. Семьдесят лет собирали — и в одну ночь всё вынесли, и комната пустая.

Ансельм сидел на табурете, и его начало трясти. Не от страха смерти — своей смерти он тогда ещё не умел вообразить, дети не умеют. Его трясло от масштаба потери. Он вдруг увидел всех сразу: и мать, и Мирко, и Дудку, и тех безымянных, чьи имена стёрлись с камней на верхнем кладбище, и тех, кто был до них, и тех, кто был до тех, — поколение за поколением, склад за складом, и все вынесены. Тысячи лет люди наполнялись доверху и опустошались, наполнялись и опустошались. Кто-то оставил после себя мост или песню. Большинство не оставило ничего, кроме вмятины в земле там, где стояла нога.

Он вышел из обмывальни на берег. Было начало осени, вода стояла высоко и шла быстро, пахло тиной и дымом, и с того берега кто-то звал скотину.

И Ансельм, двенадцати лет, подумал одну мысль, которая потом сделала с миром всё.

Он подумал: это неправильно устроено.

Не «это грустно». Не «такова жизнь». Именно — неправильно устроено, как бывает неправильно устроен замок, который заедает, или колесо, которое бьёт. Ошибка в работе. А если ошибка в работе, то её кто-то допустил, а если её кто-то допустил, то её можно найти и исправить.

Он пошёл домой. Мать варила кашу. Он ел и молчал и был совершенно счастлив, потому что впервые в жизни у него было дело.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Вечер

Тысяча восемь лет назад был четверг.

Ансельм знает это не потому, что помнит, а потому, что вычислил потом, в шестьдесят восьмом году, от нечего делать, по трём праздникам и одной ярмарке; и знание это совершенно бесполезно, и он бережёт его, как берегут билет на давно ушедший корабль.

Ему было двадцать три года. Он вернулся в Ольму из Гэрсы месяцем раньше, злой и пустой, потому что семь лет учения у магистра Ойна кончились ничем, и он ещё не понимал, что ничем они не кончились.

Комната была под крышей, у столяра Мехта, за четыре медяка в месяц. Низкий потолок со скосом, так что у окна нельзя было выпрямиться. Стол. Тюфяк. Ящик с книгами. Одно окно на запад — плохое окно, летом в нём стояла духота, зато оно давало вечерний свет, а больше в нём ничего хорошего не было.

Он сидел за столом и переписывал набело чужой рецепт мази от чесотки, за что ему обещали восемь медяков. Он был должен Мехту за два месяца. Он был никто: недоучка, сын обмывальщицы, вернувшийся домой в двадцать три года без ремесла и без денег, и весь город это знал, и мать делала вид, что не знает.

Потом солнце опустилось до края крыши дома напротив, и свет вошёл в окно.

Вот что произошло, и Ансельм рассказывает это сам себе тысячу восемь лет, и в каком-то смысле вся его жизнь была одной длинной, всё более безуспешной попыткой рассказать это точно.

Свет вошёл в окно и лёг на стол, на левую руку и на исписанный лист. Он был красноватый и очень плотный — такой бывает в конце сентября, когда воздух уже холодный, а солнце ещё летнее, и луч в нём виден весь, целиком, от рамы до стола, потому что в нём стоит пыль от дороги и от стружки снизу, из мастерской. Ансельм поднял голову.

И увидел пыль.

Она была живая. Она поворачивалась. Тысячи крохотных точек, и каждая шла своим путём, и весь этот столб медленно, торжественно вращался, потому что где-то в комнате был сквозняк, которого Ансельм не чувствовал, но который делал вот это. Он смотрел, как одна светлая крупинка выходит из тени, вспыхивает, идёт по дуге через весь луч и гаснет за краем, уйдя в тень. Он смотрел, как за ней идёт следующая.

Потом ветер тронул раму, и в комнату вошёл воздух с улицы, холодный, с запахом мокрой пыли и печного дыма и, откуда-то, яблок. Занавеска — серая тряпка на верёвке — надулась и опала.

И Ансельм вдохнул.

Он вдохнул, и его ударило.

Он вдруг понял — не подумал, а понял всем телом, как понимают, что падают, — что вот прямо сейчас с ним происходит нечто совершенно невероятное. Что он сидит внутри чуда такой густоты, что его невозможно вынести. Что воздух входит в него и выходит и от этого он живёт, и он ничего не сделал, чтобы это заслужить, и никто не спрашивал его согласия, и это просто дано, каждую секунду, бесплатно, тридцать тысяч раз в сутки: вдох. Что свет проделал путь, о котором никто ничего не знает, и пришёл сюда, в комнату под крышей у столяра Мехта, чтобы лечь на его левую руку и подсветить волоски на ней. Что ветер — сама возможность того, что воздух куда-то идёт, — существует.

И что всё это у него отнимут.

Не когда-нибудь, а обязательно; и не только у него — у всех; и уже отняли у Мирко, и у Дудки, и у тех, чьи имена стёрлись, и отнимут у матери, которая сейчас, вот сию минуту, в трёхстах шагах отсюда, стоит над чьим-то телом с ложкой серой соли в руке.

Ансельм заплакал. Ему было двадцать три года, он не плакал с двенадцати лет и потом не плакал ещё шестьсот, и вот тут он сидел и плакал над чужим рецептом мази от чесотки, беззвучно, размазывая свежие чернила, потому что жалко было всего.

Жалко было пыли в луче. Жалко было тепла на руке. Жалко было того, что запах яблок откуда-то пришёл и сейчас уйдёт и уже уходит, и он не успевает, не успевает его как следует взять.

И вот тут — вот в этой самой точке, и Ансельм за тысячу лет разглядел эту точку так подробно, как разглядывают под лупой трещину в кости, — вот тут он совершил свою единственную настоящую ошибку.

Он встал.

Он должен был сидеть. Ему было дано всё: свет, ветер, вдох, запах яблок, вечер четверга, двадцать три года и целая жизнь впереди, чтобы смотреть, — ему дали полную чашу, и от полноты у него потекло через край. Ему надо было остаться и досмотреть. Луч стоял ещё минут двадцать, а потом лёг на подоконник, а потом ушёл на потолок и покраснел, и это тоже стоило видеть, и он этого не видел.

Он встал, зажёл сальную плошку, сдвинул чужой рецепт и взял чистый лист.

Потому что горе такой силы человек не может просто нести; человеку надо немедленно что-нибудь с ним сделать. И Ансельм сделал единственное, что умел: он превратил его в задачу.

Наверху листа он написал:

*«Порча начинается с воды. Соль вытягивает воду. Соль недостаточна, ибо вытягивает не всё. Найти то, что удерживает всё».*

Он смотрел на эту строчку. Она была бледная, глупая, ученическая, из неё торчали во все стороны ошибки, и в ней уже целиком лежало то, что случится с миром.

Ниже он написал, помедлив:

*«Я не хочу это потерять».*

Это была последняя фраза, которую он в жизни написал от себя. Всё остальное — сорок один год, шесть тысяч четыреста листов — было писано не от себя, а от дела.

Он подписался. Ансельм, сын Тавии. Он подписывался так же на всех шести тысячах четырёхстах листах, до самого конца, до последнего, где стояла одна строка и дата.

Потом он задул плошку и лёг, и уснул сразу, счастливый до дрожи, как бывает счастлив человек, у которого только что появилось направление.

Он проспал остаток вечера. Он проспал следующие сорок один год.

И вот что Ансельм понял на восьмисотом году, сидя на пороге и глядя в стоячий свет, и это понимание было хуже всего, что случилось с ним до и после.

Он не забыл о своём обете. Он держал его безупречно, каждый день, все сорок один год: он ни разу не изменил цели, ни разу не свернул, ни разу не потратил на себя того, что мог потратить на дело. Он был верен вдоху, лучу и порыву ветра, как рыцарь бывает верен даме.

Только он больше ни разу их не заметил.

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

### Магистр Ойн

В Гэрсу его отправила мать. Она копила на это шесть лет и никогда об этом не говорила, а когда Ансельм узнал сумму, было уже поздно спрашивать, откуда.

Магистр Ойн держал дом на Стеклодувной улице, второй от угла, с медной вывеской, на которой было выбито слово, ничего не означавшее ни на одном языке. Ойн был толст, весел, лыс, ходил в халате поверх халата и продавал состоятельным людям Гэрсы настойку, которая, по его словам, отдаляла старость.

Настойка была из мёда, ревения, толчёного янтаря и одной капли ртути на бутылъ — ровно столько, чтобы человек почувствовал во рту металл и уверился, что средство сильное. Ойн разливал её сам, приговаривая, и надписывал этикетки красивым круглым почерком, и брал за бутылъ столько, сколько стоила корова.

— Это обман, — сказал ему Ансельм на седьмой день.

— Разумеется, — сказал Ойн, не оборачиваясь. — Подай воронку.

Он ничего не скрывал. В этом было что-то настолько бесстыдное, что Ансельм остался.

И семь лет Ойн учил его — по-настоящему, жёстко, не жалея, — всему, что знал сам, а знал он много. Как тянуть стекло и как отжигать его, чтобы не лопнуло на третий день. Как строить печь с двумя тягами. Как выпаривать досуха, не пережигая. Как отличить возгонку от осадка и почему нельзя доверять первому, что выпало. Как вести журнал: дата, погода, вес до, вес после, что видел глазами, отдельно — что подумал; и никогда, никогда не путать первое со вторым, ибо человек, который записывает свои мысли в графу наблюдений, — не работник, а поэт, и пусть идёт к поэтам.

Ансельм оказался хорош. Он оказался лучше, чем хорош: у него была та единственная вещь, которой нельзя научить, — тяжёлое, тупое, ослиное упрямство внимания. Он мог семьдесят раз подряд повторить один и тот же опыт и на семьдесят первый заметить, что во второй раз пламя было чуть выше. Ойн смотрел на это с удовольствием и с чем-то ещё, чего Ансельм тогда не разобрал, а разобрал только на четырёхсотом году: с жалостью.

Ссора вышла весной, перед самым концом, из-за настойки.

Ансельм сказал, что уходит и что не может больше держать воронку над бутылками с враньём, что за этой дверью люди умирают по-настоящему, а Ойн берёт с них корову за мёд с ревенём.

Ойн поставил бутылъ. Вытер руки. Он не рассердился, и это было хуже всего.

— Скажи мне, — сказал он, — какого цвета занавеска в твоей комнате?

Ансельм молчал.

— Ты живёшь в ней семь лет, — сказал Ойн. — Не в моей. В своей. Какого цвета?

— Какая разница.

— Есть окно?

— Есть, — сказал Ансельм. — Кажется, есть. Да, есть.

— Куда выходит?

Ансельм не знал. Он входил туда затемно и валился спать, и уходил затемно, и семь лет прожил в комнате, о которой мог сказать только, что в ней есть тюфяк и что зимой от стены тянет.

Ойн кивнул, как кивают, когда опыт подтвердился.

— Вот в чём мой обман, мальчик, — сказал он мирно. — Не в реване. Ревень честный. Обман в том, что я продаю им время, а они не умеют тратить и то, которое у них есть. Ко мне ходит откупщик Барда. Ему пятьдесят один. Он покупает у меня по бутылки в месяц, чтобы прожить лишних двадцать лет. Как ты думаешь, чем он занят те годы, что у него уже есть? Он их не видит. Он сидит в них, как ты в своей комнате, — затемно вошёл, затемно вышел, а какого цвета занавеска, не знает. Я продаю ему двадцать лет темноты по цене коровы, и он счастлив, и я счастлив, и никто, заметь, никто не в убытке.

— Значит, надо не продавать им годы, — сказал Ансельм. — Надо действительно их дать. По-настоящему. Тогда они успеют посмотреть.

Ойн засмеялся. Он смеялся долго, всем животом, вытирая глаза краем халата, и в смехе не было ни капли злости, а была одна усталая нежность, и потому этот смех Ансельм не мог простить ему шестьсот лет.

— Ох, — сказал Ойн наконец. — Ох. Милый мой. Успеть — это не «потом». Успеть — это «сейчас» или никогда. Ты можешь дать человеку тысячу лет; если он не умеет смотреть в четверг вечером, он не научится этому за тысячу лет, он просто не будет смотреть тысячу лет вместо сорока.

— Это удобная мысль для человека, который решил ничего не делать, — сказал Ансельм.

Он до сих пор считает, что ответил хорошо.

Ойн перестал смеяться и посмотрел на него внимательно, без всякого веселья, и в первый и последний раз за семь лет Ансельм увидел, что старик стар.

— Моя жена умерла шестнадцать лет назад, — сказал Ойн. — Её звали Мале. Хочешь, скажу тебе, что я помню лучше всего? Не свадьбу. Не то, как она болела. Один вторник. Мы сидели во дворе, чистили орехи, она рассказывала про соседку, я не слушал, а потом посмотрел на её руки. И всё. Вот это у меня есть. Один вторник, руки и скорлупа. Всё остальное я прожил, но не взял.

Он снова взялся за бутылку.

— Иди. Ты будешь хороший мастер. Только запомни, из чего сделан твой обман, чтобы потом узнать его в лицо.

Ансельм ушёл через два дня и не попрощался.

Он вспоминал этот разговор четыре или пять раз за следующие сорок лет — всегда мельком, всегда с раздражением, как вспоминают о старом долге, который платить не собираешься. Он думал: жирный болтун, оправдывающий свою праздность. Он думал: старик утешает себя тем, что не сделал.

В четырёхста двадцатом году Ансельм дошёл до Гэрсы пешком. Идти было три месяца, спешить некуда. Стеклодунная улица стояла целая, вторая от угла — дом с медной вывеской. Внутри, у стола, стоял очень старый толстый человек в халате поверх халата, и в поднятой руке у него была воронка, и лицо у него было доброе и пустое, и в нём давно уже не было никакого времени.

Ансельм просидел у него до вечера. Потом сказал вслух:

— Занавеска была синяя.

Она и была синяя. Он вспомнил это в двести шестнадцатом году, ни с того ни с сего, стоя посреди улицы, и потом внёс её в опись отдельным пунктом — единственным, который не про потерю.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Две ладони

Красильни в Ольме стояли ниже по течению, за обмывальней, потому что и тем и другим нужна была вода, и потому что и тех и других селили подальше — от красилен несло мочой и вайдой на полгорода.

Аста была четвёртой дочерью красильщика Гуна и работала у отца с одиннадцати лет.

Ансельм увидел её осенью пятого года — он вёл счёт годам от вечера с самого начала, это была его первая странность, и в Ольме к ней привыкли раньше, чем ко всем остальным. Ему было двадцать восемь. Ей двадцать один.

Он пришёл в красильню за щёлоком. Она стояла у чана, спиной, по локоть в синем, и вынимала моток, и мокрая шерсть выходила из чана зелёной.

Он остановился. Он знал, что вайда даёт синий; всякий это знал; и всё-таки шерсть выходила зелёной и на воздухе, медленно, за десять или двенадцать вдохов, поворачивалась в синь, будто внутри неё что-то решалось.

— Почему зелёная? — спросил он.

Аста обернулась через плечо. Потом, не торопясь, довесила моток на жердь.

— Потому что торопыга, — сказала она мотку.

— Я спросил серьёзно.

— И я. — Она отжала руки. — Синего в чане нет. В чане жёлто-зелёная муть. Синий делается уже здесь, на воздухе. Пока она в чане — она ещё не решила.

— Это воздух, — сказал Ансельм. — Это соединение с воздухом.

— Ну, значит, воздух, — согласилась Аста. — Мне-то что. Я знаю, что если вынуть и сразу повесить — будет ровно, а если положить в кучу — будет пятнами. Я это знаю руками, а как оно называется — знай ты.

Так они и разговаривали потом сорок лет.

Он приходил за щёлоком чаще, чем требовалось. Она была невысокая, широкая в кости, с толстой светлой косой и очень спокойным лицом, из тех лиц, которые не считаются красивыми до тех пор, пока не станут единственными. Руки у неё были синие до второй фаланги, и синева не сходила: за зиму бледнела до серого, а к весне снова набирала цвет.

В седьмом году она пришла к нему сама. Просто поднялась по лестнице к столяру Мехту и постучала.

Два раза. Не три и не один. Два коротких, близко поставленных удара костяшкой — так, как стучат, когда точно знают, что откроют.

Он открыл. Она посмотрела на его стол, заваленный листьями, на весы, на плоски, на кучу битого стекла в углу, ничего не сказала про это, а сказала:

— Внизу дождь. Ты второй день не ел.

— Ел.

— Мехт говорит, не ел.

Она принесла хлеб, лук и половину варёной курицы в тряпке. Она села на его тюфяк, потому что стула не было, и пока он ел, разглядывала стены, и ей это было интересно, а не смешно; она вообще не умела смеяться над тем, чего не понимала, — редчайшее свойство, за которое он не поблагодарил её ни разу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.